



И. С. ЛУКАШ



Иван Лукаш
Сны Петра

«Public Domain»

1931

Лукаш И. С.

Сны Петра / И. С. Лукаш — «Public Domain», 1931

«...Петр втянул сквозь ноздри свежесть березняка, сырого песку, сосновых бревен. Над земляными кронверками крепости хлопает на высокой мачте желтый штандарт с черным орлом. Не оглядываясь, Петр пошарил за собою руку Катерины. Взял ее, мягкую, точно бескостную:– Катерина... Помощника нету... Государству наследника... Один... А нынче в ночь, слышу, зовет, слышу, зовет...Отбросил ее руку с силой. Об Алексии Царевиче молчание отныне и во веки. Тихо повернул к ней серое лицо, под кошачьим усом дергает губу:– Выдь, Катя, душа... Мне одному быть надлежит... Нынче в ночь он меня сызнова звал, сын, Алексей, казнь моя...»

© Лукаш И. С., 1931

© Public Domain, 1931

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Вступление | 5 |
| Сны Петра | 6 |
| Петр в Версале | 9 |
| Сержанты бомбардии | 13 |
| Три барабанщика | 21 |
| Роза и крест | 27 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 31 |

Иван Лукаш

Сны Петра

(Трилогия в рассказах)

Вступление

Не случайно решил я назвать этот сборник рассказов «Снами Петра», и не только по заглавию первого рассказа. Не случайно, хотя и со многими опасениями, решил я также объединить весь сборник определением: трилогия в рассказах. Решил я так потому, что, подбирая для сборника рассказы, написанные мною в разное время, мне показалось, что в них есть одна мысль, за которой я следовал несколько лет: мысль о том, что мое отечество было обречено на ту его судьбу, которая раскрылась на глазах нашего поколения.

Между 1922 и 1927 годами, когда были написаны эти рассказы, вместе с той еще одна мысль вела меня: мысль о том, что Россия, восставшая в величестве и славе от мановения Петра, моя Россия и моих отцов-солдат, была невоплощенным до конца Сном Петра, полуявлю и полувидением, сменой снов, движимых к горчайшему пробуждению.

Невоплощенным Сном Петра и сошла Россия.

Иван Лукаш

3 Мая 1931 года

Сны Петра

Черный токай, огнистая искра, глотки всем пережег. Денщики ковшами носили винище господам ассамблее. Князюшка Ромодановский ослонявился, сел под стол и терся о колени шершавым паруком, сивыми коконами, пес смокший.

– Амператор, превеликой, всемошной, горазд кровушка в осударстве хлещет, уйми.

– Черт, кат, сам кровищи нажрался, так тошно.

Тупоносым башмаком Князя-Черта в блевотину оттолкнул. Звякнула на башмаке шведская пряжка.

А граф Толстой, опухший гнусавец, в морщины серая пудра затерта, левантийским табаком его потчевал, под локоть совал табакерку, а на ней отекалены в червонных гроздьях срамные потехи амуровы и кадуцеи. Граф сопьяна непотребное плел о Флоренции-городе. Сказывал, как был захворавши во Флоренции упокойный царевич Алеша простудного коликой, почасту в огневице бредил: дворцы, гроты, каскады, сады.

Паруком Толстого по лицу хлестнул. Понеже об Алексии Царевиче молчание отныне и во веки веков. Аминь.

Снятся сны. Была вечер ассамблея, а то будто не было. Еще снились сны: плыл корабль во флагах зеленых, на корабле лев и бобр в человеческий голос кричат. На реке волн темных волнение, ветер, и нет корабля, а башни высокие, на башнях турки бьют в барабаны. А с барабанов осыпается жемчуг. Падет где жемчужина, там воззовет ясный голос:

– Алексей, Алексей, Алексей...

Сбил ногами овчинный тулуп к дубовой спинке постели. Сел, оперши ладони в пуховики. Тихо позвал:

– Катерина.

Спит. Ее пальцы удлиненные, чуть припухшие, на грудях с дыханием поднимаются, и белеются груди в потемках.

– Катерина.

– Питер, а, – влажно пожевала губами со сна.

Он зашептал жалостно:

– Ночь ли, свет, не понять... Сны снятся... Мерещится, будто Толстого за парук таскаю...

Была вечер ассамблея?

– А то нет. Знамо была, до свету шумели.

Повернулась к нему разогретой спиной, закачала постель.

Уже светает в узком голландском покойчике. Петр стал на половицы, босой, в холщовой долгой рубахе. На цепких ногах от холода пошевелились пальцы. Петр потянулся, вытягивая кверху все смуглое сжатое тело. Напряглись коричневые сухие ноги. В острых локтях и у сухой шеи хрустнули-перещелкнулись косточки-жилки. Заскреб ногтями в жестких волосах, падавших на глаза. Тошно ломит голову. От токая.

Он пошарил шерстяной красный колпак в изголовьях. От синей куртки табачная и потная вонь. Не мог попасть в рукав кулаком, в досаде рванул, треснуло в подмышке морское сукно. Быстро оглянулся на Катерину.

А та не спит и на него смотрит, темно, пыливо. Тусклые, с красниною волосы разметало по полным рукам. Неверно улыбнулась ему:

– Жонка шьет, а капитан Питер порет...

Подложила ладонь под теплую щеку. Теперь красноватые пряди мягко легли по белому крутому плечу.

– Мне сон, батя, снился... Вижу, будто сильный ветер мачты качает, а мы в Монплеизир гуляем.

– И мне ветер снился. Токмо на реке. И волн темных волнение, – хмуро сказал Петр, подтягивая на долгую ногу чулок.

– А вот, батя, смехи... В Монплезир мы гуляем, а ветер-охальник дунь-подунь и роботы на голова нам воздынул, фуй.

Зевнула, похлопала мягкой рукой по открытому рту:

– Смотрю, стемнело, дам со мной нету, одна стою, а по берегу белые медведи идут, в лапах церковные свечи. И слышу окрест неведомое слово кричат: сальдореф, сальдореф.

– Сальдореф?

Петр стоит у окна, прижимая к стеклу лоб: остужает голову прохладой:

– Сальдореф... А мне нынче клики снились. Турки на барабанах играли. Гулко зело. С барабанов жемчужины осыпались. Падет жемчуг, и воззовет голос: Алексей, Алексей, а-а-а...

Судорога свела губу. Дрогнул угол острого плеча. Петр прижался к стеклу лицом, нос расплющился в белый пятак.

В невиский туман сквозь окно смотрит выпуклыми глазами лик серый Петров, притиснуты к стеклу кошачьи усы.

Катерина подхватила на затылке красноватые гривы, заячий шугай упал с плеча, – волочит нечистую сорочку, – навалилась сзади на спину Петра. Затряслись полные, с ямками, руки:

– Светик, батя, Петрушь, опомнись, герр капитан... Она толкнула окно:

– Гляди, Пасха, людству радость, Христос Воскресе, – опомнись.

Сырой свежестью повеяло из окна. Над Невой, по обрывам, ползет туман. Влажно шуршат темные березы.

Петр втянул сквозь ноздри свежесть березняка, сырого песка, сосновых бревен. Над земляными кронверками крепости хлопает на высокой мачте желтый штандарт с черным орлом. Не оглядываясь, Петр пошарил за собою руку Катерины. Взял ее, мягкую, точно бескостную:

– Катерина... Помощника нету... Государству наследника... Один... А нынче в ночь, слышу, зовет, слышу, зовет...

Отбросил ее руку с силой. Об Алексии Царевиче молчание отныне и во веки. Тихо повернул к ней серое лицо, под кошачьим усом дергает губу:

– Выдь, Катя, душа... Мне одному быть надлежит... Нынче в ночь он меня сызнава звал, сын, Алексей, казнь моя...

Катерина словно не слышит, торопится, голос неверно звенит, осекается:

– Герру капитану гродетуровый камзол севодни подать, щетину дочиста обрить, сенаторов расхристосуешь, корабельщиков, гвардею, – из пушек пальба, виват императеру... Смехи, каков сальдореф!

Петр медленно, трудными толчками, повернул к ней голову. Засохшие губы жалобно шевельнулись, точно он хотел что-то сказать, но потерял голос, и вдруг дрогнула в лице Петра серая молния, вздулись жилы на смуглом лбу, ощерился, крикнул гортанно:

– Курва окаянная, тебе сказано, сгинь!

Ахая, срывая с дубовой постели вороха тугих роб, епанчи, бархаты, Катерина ловит носком ноги башмак с красным каблуком. Поймала. Уже за дверями, тише, тише, drobный стук каблуков. Петр еще шепчет:

– Сгинь, сгинь, сгинь...

Передохнул. Цепкой пястью ударил в окно.

Желтеет песчаная коса в тумане под обрывом, и там видны бурые штабели кирпича, мачты, рей. На Неве по высокому заднему борту фрегата студено запыхали червонцы корабельной оконницы. Ружье к локтю, ходит по песчаной косе солдат в зеленом кафтане с красными отворотами. Постоит, расставя ноги, круто повернет, ходит.

В выпуклых глазах Петра засветилась солнечная мгла. Под глазами подрожали мешки.

Звон сонный, отсыревший, плавно дохнул за Невой.

– Слободка Преображенская, – пошептал Петр и мелко закрестил угол груди.

По торопливому и жидкому звуку он узнал пленный шведский колокол, на котором по светлой меди выбиты латинские литеры: Soli Deo Gloria¹ Перекрестился. А в лицо зычно дунуло звоном, повеял холодный ветер. Ударил Троица.

Петр, кряхтя, осел на колени, припал головой к подоконнику. Он крестился, крепко вдавливая пальцы в покатый лоб и царапал ногтями по нечистой рубахе.

Звонари ходят по колокольням за Невой и на Троице, в крепостце и в полках. На Красную Пасху и сам прежде по московским звонницам лазал ударить в Набатные и Палиелей. Усладителен звон на Святителе Николае, перезыв Вознесения, а то Симонов Воскресенский, а то Саввы Сторожева на Звенигороде. К колоколам и Алексей Царевич, млад-отрок, с ним жаловал. На колокольную доску ножками вспрянет, погонится за веревкой, летит, кафтанишко хлебещет по ветру, русский волос воздынут крылом и лик худенький светел-пресветел.

– Батюшко, глянь, голубей, голубей, страсть помчало от звона...

Невнятен, горяч и порывист сиплый шепот Петра:

– Аще наказуеши мучительское сердце мое, изглодал душу мне окаянному, лютою стрелою припек... Алексей, сын, отыди, Алеша...

¹ Славен един Господь (лат.).

Петр в Версале

У сине-золотой решетки Версальского дворца крутило вихрями пыль. Красные каблуки версальских кавалеров, персиковые и бланжевые чулки посерели, а с париков, крученных в шестьдесят лошадиных прядей, надобно было стряхивать версальскую пыль, как облако серой пудры.

Царь Петр Московский шагал ко дворцу пешим, впереди всех, без шляпы и парика.

Теплый ветер отбивал его жесткие черные волосы на впалую щеку. Отбрасывая пряди с лица, он кликнул раза два Преображенского денщика:

– Треуголку, Никита, подай, ветрит знатно...

За царем гремели красные, с золочеными спицами, колеса версальских карет, его денщик шагал в толпе французских придворных, жарко блистающих в пыли шитьем кафтанов, и не слышал.

Петра догнал арапчонок Агибук, на бегу красные шальвары раздулись шарами. Негритенок запыхался:

– Зачем кричишь, Питер?

– Шляпу, диво, подай: волос бьет.

На огромном дворе перед розовато-серыми крыльями дворца Петр, заслоняясь ладонью и остро щуя глаза, с четырех углов обошел медную статую в зеленоватых подтеках. Постучал по медному копыту смуглым перстом:

– Подобное мастерство отменно натуру преукрашает.

Московский царь в пыльных шведских башмаках с медными пряжками, в штанах желтоватой лосины, – на левой коленке, над самым чулком, сальное темное пятно, – головой выше денщика Никиты и версальских придворных, которые, впрочем, так склонились в поклоне, что пали гривы их париков до самой земли.

Арапчонок Агибук держит под мышкой камышовую трость Петра с обтертым набалдашником слоновой кости, а денщик несет дорожный погребец царев, обитый сафьяном. Рослый денщик выступил вперед, широко улыбнулся:

– Статуй, осударь, точно знатный. Меди одной, почитай, пудов до ста пошло. Когда бы истукана сего в наши московские пятаки перелить...

Петр быстро и весело прищурился на алый, с парчовыми узорами, кафтан денщика, шитый в Париже. Кафтан топорщился на спине преображенца, из рукавов с раструбами свисали желтоватые валансьены. Никита шевелил в них пальцами, точно красноватыми раками в сетях.

– Вырядился, – сказал Петр. – В-точь шут Педрилло. Тебе ли, бесстыжая харя, о сих искусных затеях ридить. Отойти от статуя, застишь.

Пышущий золотом денщик отступил, стряхнул рыжеватой гривой и ловко, вбок, сплюнул. По его румяному московскому лицу плыла улыбка, оставляя на щеках ямки...

А вечером того дня, при свече, царь Петр Московский писал нечто, скрипя пером, во дворцовом покое.

Черные волосы Петр подобрал на лоб, под ремешок. Он сам снимал нагар со свечи. Из глиняной трубки насыпал горку пепла на мраморный стол. Поплевывал на гусиное перо.

При свече был виден его покатый, в крепких морщинах лоб, исчерна-сивая прядь у впалой щеки.

А писал царь Петр, выдыхая табачный дым из ноздрей, кривыми, как острые царапины, буквами о затеях и дивах королевских другу сердешному герру Меншикову в свой Парадиз, в славный городок Санкт-Питербурх.

Агибук свернулся по-щенячьи у ног на засаленном плоском матрасе-блинце, что возят за негритенком от самой Московии. Денщик Никита, уместивши ноги на пышной, в точеных гроздьях, спинке постели, полег в чем был: в алом французском кафтане и пыльных башмаках.

Сузивши глаза, денщик смотрел на огонь свечи, слушал проворный скрип государева пера, чесался, зевал, потом от скуки проковырял дырочку в шелковой шпалере, выбрал из камзольного кармана приключившийся там свинцовый карандаш, долго мусолил его и по шпалере, наискось, стал писать московской тесной вязью:

– Господи Сусе Христе помилуй ны...

Тут царь Петр сильно дунул на свечу. Денщик вспрынул, сел на тюфяк.

Его Царское Величество изволит молиться у окна. Мерно склоняется огромная и тощая Петрова тень, слышит денщик крепкий шепот, и, как при поклонах, сухо отхлестывают жесткие царевы волосы.

– Пошто, Никита, не спишь?

Из темноты, уже с постели, сказал Петр, стучая о паркеты отстегнутым башмаком:

– Сымай, сказываю, дурацкое кафтанье твое, да ложись. Денщик вздохнул, повозился.

– Сызнова ты, осударь, забранишься. А токмо кафтана сего, воля твоя, како стянуть, не умею. Почитай, полный вечер с красной сатаной бился, так и лег в окаянном: потянешь, он треск в плечах подает, ворот узкой на камзоле сзади петли понашиты, распутать невесть, а брюхо, прости Господи, жерновом жмет...

Петр коротко рассмеялся, подозвал денщика. Он поворачивал его перед собой, как куклу, перекусил на камзоле неподатливый шнур, что-то рванул. Кафтан трещал, Никита тяжело дышал под руками царя.

– Не кафтанье парижское, московское охоботье тебе таскать, чтобы рукава до полу, да бородой ошерстеть. Не Преображенский ты вовсе солдат, а сущая баба...

– Бабой да бородой ты, осударь, не замай... Тоже под Нарову ходили... А к сему тесному уряду заморскому непреобыкши, точно. И зело оно жмет, а скинуть без сноровья не ведаешь. Спасибо, Твое Величество пособило...

– Ладно, дурень, поди.

Арапчонок расчихался во сне, надобно думать, от пыли, растрясенной Петром с замысловатого денщикова наряда.

А ранним утром по первому птичьему щебету, когда прохладное солнце еще низко ходило по стриженным стенам дерев, царь Петр Московский шагал один Версальским парком.

Облокотясь на серый край фонтана, он долго смотрел на медного, длинногривого и мокрого от росы Нептуна. Он постучал указательным перстом по медным ногам смеющихся фавнов, что веселой толпой несут на рожках мраморные омофоры, еще розоватые от росы.

Петр стремительно шагал, опираясь на камышовую трость. На смуглом лбу Московского царя билось прохладное солнце.

Его Христианнейшее Величество, короля Франции, маленького Людовика, будили очень рано.

В парчовом кафтанчике, прыскающем снопом золотых лучей, Людовик в то утро сбежал с террасы в парк вприпрыжку, посвистывая, впереди толпы придворных, что семенили за ним, придерживая шпаги и оперенные шляпы. По загнутым тульям стучали сивые пряди париков.

У бассейна Марны и Сены столкнулся король Французский Людовик с Московским царем Петром. По правде сказать, Людовик с разбега пребольно стукнулся о колено москвиты. Бледное королевское личико сморщилось от боли. Его Христианнейшее Величество готово было заплакать, но царь Московский проворно сел на корточки, забавно хлопая о гравий ладонями. Черная прядь, лоснясь, косо пала Московскому царю на глаза. Людовик близко увидел жесткие стриженные усы, выпуклые глаза с желтыми искрами и светлые капельки пота на носу москвиты.

– Никак зашиб, Ваше Величество? – Петр смеялся, обдавая мальчика запахом пота, табаку и солдатского сукна. – Сохрани Боже, сохрани Боже...

Огромным московским крестом он перекрестил маленького короля от головы до ног, звучно поцеловал в лоб и высоко поднял на руки.

Людовик доверчиво обхватил узкой, как у девочки, рукой жилистую шею москвиты и прижался нежной щекой к его жесткой щеке.

Петр прыжками побежал с ним вверх по мраморной лестнице.

Мальчик весело завизжал, глотая свежий ветер. Толпа придворных спешила за ними: кто поручится, не уронит ли короля московский гигант, не окунет ли в бассейн, да и возможно ли, чтобы царь Татарии поднял в охапку и понес на руках все лилии Франции?

В Зеркальной галерее стояли на узких столах вдоль стен стеклянные вазы с вареньем, любимое развлечение покойного короля-Солнца: в час прогулки по галерее золотой маленькой ложечкой он пробовал из многих ваз душистые и прелестные вымыслы придворных кондитеров.

В галерее царь Петр внезапно и довольно небрежно поставил на паркетные плитки маленького короля, поднял палец и вдруг, в два прыжка, кинулся в другой конец залы. От бега зазвенели стеклянные вазы.

Надобно сказать, что арапчонок Агибук с утра забрался в Зеркальную галерею. Он уже успел окунуть под многие стеклянные крышки свою черную горсть. Его тонкие бровки и кончик плоского носа блестели от варенья. Он ел его горстями.

Агибук только что сунул нос в вазу с абрикосами в розах, как бы полную влажного золота, когда Петр поймал его за ухо и тут же, на глазах Королевского Величества, многократно и звонко отхлопал арапчонка по красным шальварам. Агибук вертелся, царапался. Он вырвался и проворно понесся по узким столам, опрокидывая вазы и печата на зеркалах свою крошечную пятерню.

О точных событиях пребывания царя Петра в Версале хорошо осведомлены историки, но надобно сказать, что арапчонок Московского царя забрался тогда в самый дальний угол галереи, под стол. Арапчонок плакал в голос, растирая кофейными кулачками варенье и слезы, а красные его шальвары прилипли к паркетам.

И был вечер, когда Преображенский денщик Никита вошел в царев покой. Лицо денщика ярко горело.

Он сел на тюфяки, стал заплетать на ночь свои рыжеватые пряди, не доплел, поднялся, шатаясь, смахнул со стола глиняную цареву трубку. Трубку разбилась.

Никита усмехнулся, неверно пошарил осколки, сунул их под королевскую подушку, уже измятую и в сальных пятнах. Лег, шумно вздыхая. Вдруг запел диким голосом. Послушал себя, с укориной покачал головой:

– Пьян ты, пьяница, захмелел... Осударю что скажешь? А скажу осударю: зело крутит вино королевское...

Отвернулся к стене, сплюнул вбок, на шпалеры:

– Вино и вино, а вить когда скушно мне в ихних землях... Таскаешься, прости Господи, ровно витютень, чтобы их вихорь пробрал, эва, папежество, фонтанен, мальвазии, державы заморские...

Он провертел пальцем дырку в шпалере, поискал свинцовый карандаш и под косой вязью, что писал от скуки вечор, стал теперь писать непотребные московские слова...

На сером мраморе версальских ступеней есть розоватые пятна, как бы отсвет дремлющей, уже потускневшей зари.

Заря догорает над засиневшей стеной стриженных деревьев. Померк Большой канал, дорога стройных вод, розовато-серыми зеркалами спят округлые бассейны. Медные изваяния, отды-

хающие у серых окаймлений фонтанов, вычеканены в воздухе вечера. Румяные капли зари на покатых медных плечах и на самых кончиках медных пальцев.

Царь Петр Московский стоит один у окон дворца, уже прикрытых изнутри белыми с позолотой ставнями. Петр стоит на террасе, над просторной и гармонической далью Версаля.

Тогда-то Агибук подполз и припал к его ноге, молча обнял каштановыми горстями. Так ли все это было или не так, но Петр опустил руку на жесткую и курчавую голову арапчонка. Петр и не видел, что у его ног сидит арапчонок, грустно скосивши белки на зарю.

Царь Петр Московский слушал гармоническую тишину отдыхающего Версаля. Его ноздри расширились, он побледнел.

Петр думал о том, как из сосновых срубов, из тесноты и грязей московских, со ржавых болотин, из дремучих лесин, из медвежьих охабней, сваленной шерсти бород, из глухоты ночи московской плавно воздвигнется, как заря, прекрасная и просторная земля, его новая держава российская, осененная лаврами.

Сержанты бомбардии

Фельдмаршал Салтыков, старичок в белом ландмилицком мундире, пожевал обритыми запальными губами и глянул через стол, заслонясь от свечи темной горстью:

– Батюшка-граф, мне бы сюды офицерики...

Генерал-аншеф граф Фермор осторожно передвинул под столом тупоносый тяжелый ботфорт, чтобы не задеть фельдмаршалу ногу, и негромко сказал в темноту:

– Господин дежурный, премьер-майор, пожалой сюды.

Невпопад зазвякали шпоры.

К свечам наклонилось молодое лицо: у глаз собраны тонкие полукруги морщин, в глазах отблески свечи, сухо обтянуты скулы, отливают золотом русый кок.

На красном обшлаге фельдмаршала замигали медные пуговицы:

– Постой, батюшка, куды-с ордоннанс мой, прости Господи, подевался?

У графа Фермера насмешливо поджалась губа.

Он выбрал из кармана камзола китайскую роговую палочку и лениво стал чистить ногти.

От дыхания, от воскового огня в шатре стоит тяжелое тепло. Тупея давит генерал-аншефу лоб, под буглями крепко чесалось.

Старичок-фельдмаршал сказал:

– Ан, вон ордоннанс мой... Тебя как, батюшка-маер, звать?

– Премьер-майор Александра Суворов, Ваше Сиятельство! – восторженно крикнул сухощавый юноша, ступивший к столу из темноты.

– Вот и ладно, мил друг... Вот и скажи-ка ты, душа Алексаша, к левому флангу, к самому князю Голицыну и сей ордоннанс от меня в обсервационный корпус передай, да еще и словами тако ж скажи, чтобы строили фронт обер-баталии в пять линей кареями, кавалерию шток всю в резервы за лес, а мост через Одер-реку мигом зажечь...

Премьер-майор захлопал ладонями по полам мундира и быстро, по-птичьи, загоготал:

– Ваше Сиятельство, у Гомера сказано: коней произвели ветры, Гарпия быстроногая родила от Борея лошадей Гектора, Ерихтония-кобылица от него же поела двенадцать жеребцов...

Молодой голос майора осекся, весело сорвался.

– Ты, батюшка, што? – удивленно сказал фельдмаршал.

– А понеже жеребец мой породы клепер прямой, ордоннанс ваш я, аки ветер, доставлю.

– То-то, душа... Тебя не уразуметь... С Богом, ступай.

Шпоры зазвякали в темноту.

Молодой Суворов откинул полог, в просвете стал тенью на миг: сжатая голова, нос, как у птицы, дыбится прыдь над лбом.

Вестовой казак в высокой шапке, похожей на черную колоду, подвел двух коней. Казалось, что конь один, но что у него две гривастых головы. Премьер-майор прыгнул в седло.

Крутозадый жеребец откидывал задними ногами, норовя сбросить седока. Молодой Суворов без стремян, прижавши ноги к конским бокам, вертелся перед мушкетером, выдыхая силпо и жадно:

– Ну, балуй, балуй, пшел.

Жердь пики, колода казацкой шапки, голова Суворова с отдутыми волосами сгнули в темноте.

Мушкетер отсчитал двенадцать шагов до колышка у шатра, пристукнул прикладом, повернул назад.

От расставленных ног мушкетера упала тень.

Зарево красновато засветилось на холстинах шатра. Стали видны оглобли полковых фур, наваленные рогатки. Проснулись верблюдицы генерала-аншефа, сыро зачихали. На крутых боках перебрякнули бубенцы медных литавров.

Из шатра, пригнувшись, вышел фельдмаршал, за ним генералы.

Салтыков старчески шаркал ногами по сырому песку. В сжатом его кулачке за спиной махался хлыстик, точно тоненький хвост.

Граф Фермор шел за фельдмаршалом, придерживая у локтя пышную шляпу.

– Батюшки, зарево. Гляди-тко, граф: мост-от горит, – сказал Салтыков. – Ай и маер, скороногой. А мне помыслилось: пьян молодец. Невесть што честил про кобылы Гомеровы.

Фельдмаршал тоненько рассмеялся. Безветренная ночь веяла в лицо теплом:

– А часом не пьет философиус твой?

– Нет, – осклабил Фермор мокро мигнувшие лошадиные зубы. – Майор не пьянис, но шудак...

В соснах, в сухом и колючем кустарнике, отлого сходя к черным овражинам, светились заревом палатки российского лагеря, точно верхушки самоедских чумов.

Над оврагом, где разбиты громадные, утыканные гвоздями, полковые рогатки, тянется каменная гряда кладбища.

На старом еврейском кладбище у косых могильных плит, заросших мхом и дикими лютиками, умяли сочную траву пушечные колеса бомбардии.

Канонир Белобородов, сержант, лежит головой к земле, вытянувши длинные ноги на дуло медной мортиры. Завернутый с головой в суконную красную епанчу, отсыревшую на росе, сидит тут же сержант Арефьев.

Сержант Белобородов старше Арефьева. Сухощавый, смуглый, с близко поставленными черными глазами, походил сержант на цыгана, а своим быстрым взглядом – на ястреба. Арефьев же, русоволосый, с рыжиной, румяный и полный лицом, был как веселый и длинноногий жеребя-стригунок.

Был Арефьев не природный матушки-осударыни Елисаветы солдат, а барчонок: нес осударыне по дворянству своему вольную службу. Его круглый, с ямкою, подбородок не знал еще скрипучей бритвы, и румяные губы всегда норовили сложиться в добрую детскую улыбку.

Сержант Белобородов молча оберегал на походах бомбардирского барчонка. Уж больно был он молод, ровно девица, в своем красном бомбардирском мундире, с отворотами черного бархата.

По утрам сержант учил дворянчика зачесывать по-солдатски волосы в две букли и посыпать их мукой: сержант так крепко подтягивал ему на затылке косицу-гербейль, что мягкий волос барчонка трещал:

– Ай, дядя, страсть больно.

– Ништо, по солдатству терпеть должно.

И жилистые смуглые руки Белобородова уже шершаво шарили по белой шее барчонка, застегивая крючки его солдатского черного галстука.

На затылке у Арефьева была еще вовсе ребячья впадинка, куда спадали волосы русым завитком, а шел сержанту бомбардирскому Степану Арефьеву пятнадцатый годок, и хотя вскоре дадут ему офицерский знак и серебряный шарф с канительной кистью, но сержант Белобородов, днюя и ночуя с ним под одной пушкой, Мортирой-Сударыней, ходил за дворянчиком, как за дитею.

– А на Москве, дядя, неделя прошедши, как Престольную отпели, – сказал Арефьев, глядя на туманные звезды.

Над головой ходил сырой дым и звезды меркли.

Белобородов помолчал.

Арефьев втянул через ноздри горький дым сержантской трубки, запах горелого сена, еще теснее придвинулся к спине товарища.

– И куда, дядя, войско наше загнано. Неведомая Прусская земля, городов заморских сколько прошли... А вечер у пикинеров сказывали: за лесом немецкой силы нынче туча стоит.

– А ты слушай поболе. Набрехают, как же... Аль боязно?

– Нет.

Сержант выколотил трубку о башмак и сказал покойно:

– Держись подле меня, и вся. Все под Богом...

Арефьев наскоро взбил в букли влажные волосы. Закрутил косицу в пучок. Поискал под лафетом свою кожаную круглую шапку с двуглавым орлом на медном наличнике, утер орла обшлагом. Медь блеснула ясно и влажно.

В мокрой траве за плитами могил уже светятся зарей красные лафеты, там стоит батарея гаубиц и полупудовых секретных единорогов Шувалова с чеканным графским гербом на коротких дулах.

С обрыва слышен гул голосов, сырой топот, стук прикладов о влажный песок: прошли куда-то, ровно отбивая шаг, рослые московские гренадеры в оперенных своих гренадерках.

В беловатом тумане рассвета плывут красными холмиками черепичные крыши прусской деревни Куненсдорф. Стеной чернеет лес за деревней, а небо над лесом – как молоко, и в молоке – красноватое пятно солнца.

– Росы обильные павши, жаркий день заступит, – сказал Белобородов, вставая.

Белобородов передвинул трубку в край рта и сказал как бы нехотя:

– Подай, Степан, пальника.

На вымытый золотой шар солнца уже нельзя глянуть: выступают на глазах прохладные слезы.

Далеко, за деревней Куненсдорф, у черного леса медленно поволоклись синие косы тумана.

– Горазд тумана нагнало, у леса-то, – сказал Арефьев.

– Знатен туман: больно синь, – усмехнулся сержант. – Аль не слышишь, гудет?

Смутным гулом накатывал бой прусских барабанов. Синие косы у леса – не туман, а кривые линии вышедших пруссаков. Уже вспыхивают белые огни прусских касок, белые ремни.

Звякнула в ясном воздухе, загреготала, как медный жеребец, ранняя пушка, шуваловский единорог.

Белобородов пригнулся к Мортире-Сударыне. Смуглое лицо сержанта озлилось и потемнело:

– Мы тако ж поздравствуем их брандсугелем, сторонись, Степан, – пли!

Воздухом сильно махнуло полы красных кафтанов. Арефьев зажал уши.

– Каково-то им учтивство наше? – оскалился Белобородов.

Озаряясь огнем пальбы, то гасли, то вспыхивали медные орлы на шапках бомбардирских сержантов.

Как паруса, бегут по темному полю дымы пушек, к лесу, к оврагам, где кривятся и выгибаются синие линии пруссаков.

– В буерак его не пустить: туды не шарахнешь, – хрипло выдохнул Белобородов. От пороха его лицо посерело, запеклись губы. Белки сержанта сверкали.

И когда прорвало пушечный дым на один миг, услышал Арефьев, как с прусской стороны плывет торжественный хор голосов в холодном крике гобоев и ворковании валторн.

Пруссаки идут в огонь с пением молитвы:

– Господь, я во власти Твоей...

Арефьева затрясло. Это был не страх, не была лихорадка. Это был восторг.

Белобородов хрипло командовал:

– Банника подавай, копоты набежало, банника!

В дыму блистал сержантский кафтан, точно облитый кровью. Жесткие букли Белобородова развились, мука сошла с потом, и пряди хлестали его по глазам.

От пальбы мортиру откатывало, оба сержанта падали на медное дуло.

– Некуда боле бить, в лощину зашедши, – присел вдруг на корточки Белобородов, вращая белками.

Арефьев тоже присел. Под пушкой бомбардиры походили на двух красных белок.

Черная граната зашуркала по траве, подпрыгивая, как чугунный мяч. Бомбардиров засыпало песком, сухими ветками.

– Не трясись, сиди, – сказал сержант. – Пруссак почал бить...

Из-за серых, обмазанных известкой, камней ограды тесными кучками выбегали солдаты. Мундиры маячили в дыму светло-зелеными пятнами.

Солдаты падали в траву, отстреливались в дым с колена, на бегу откусывали патроны. Жались тесной толпой, как колючее стадо, выставляя во все стороны штыки.

Один прыгнул через красный лафет, на черной сумке пылающие бронзовые гранаты.

– Гренадер, стой! – крикнул Белобородов, вскакивая на ноги.

Гренадер оглянулся. Это был старый солдат в колючей щетине, небритый. Размокший подкосок прилип жидкой прядью к щеке:

– Чего стоять? Ворочай! – Пруссак хлещет! Картечи...

Граната, шипя, запрыгала в траве, вырвала длинную песочную полосу. Дунул звенящий грохот. Арефьев кинулся было за grenадером, но сержант цепко ухватил его за руку:

– Степан, а-а-а, Степан... Ранен я... Но-о-гу.

И увидел Арефьев глаза Белобородова, серые, с бархатными клинками, каких никогда не видел раньше, и его ощеренные зубы.

Московские grenадеры бежали мимо их, в дым, назад.

А вверх по откосу скорым шагом шли на бомбардирскую батарею прусские солдаты в синих мундирах с белыми ремнями патронташей и в серебряных острых касках. Высоко и дружно выкидывали ноги из травы. Черноусый пруссак прыгнул через каменную гряду, опираясь на руку. С размаха верхом вскочил на гаубицу, что завалилась боком в траву. Лицо пруссака в подтеках пороховой гари...

– Марш, марш! – рвется гортанная команда.

Пруссак тяжело перевалился с пушки, тумпаковая каска упала в траву, покатилась, блистая, к ногам Арефьева.

По багровому лицу пруссака катит пот, сбиты на ухо мокрые, густо набеленные букли.

Арефьев взвизгнул и, трепеща, захватывая дыханием гарь, быстро подтянул сержанта под мышки, перевалил на спину...

Бомбардирский кафтан Арефьева замигал в дыму.

* * *

Московскую батарею на старом кладбище взяла штурмом прусская гвардия...

Синие волны прусской пехоты вынесли из леса Его Величество короля Фридриха. Грудастый белый конь плывет с синими волнами, точно клуб сияющей пены.

Смахивая пот с ресниц, король пристально оглядывает даль серыми навывкате глазами. У глаз напряглись три резких черты.

Король в синем мундире, закиданном табаком, в сапогах иссохших и весьма красноватых. Шпоры срывают конскую шерсть. Его Величество искал табакерку в кармане, оборвал о пуговицу мундира кружево манжеты, но тощие пальцы не находили табакерки, натываясь на золотую карманную готовальню.

Осипшие от крика, у боков коня, у порыжелых сапог трутся плечами и локтями гвардейцы. В кислой духоте нечем дышать. Натуженные лица побагровели. Спирает грудь вонь сукна, потников, навощенных голов. Солдаты изнурены огнем и жарою, у солдат не хватает дыхания.

Его Величество быстро оглянулся, ухватясь рукой за заднюю луку седла, крикнул что-то гортанно и весело, поднял над головой черную треуголку. На тулье засквозили дырки от пуль. Зной горячо дунул по его голове. Осипший вопль тысячи грудей подхватил команду короля...

Скатываясь в овраги, заклепывая пушки, выхлестывая глаза в колючем кустарнике, бегут от пруссаков светло-зеленые толпы русских. Прыгают через лафеты, шарахаются на шатры, разносят артиллерийские понтонные фуры, шесты полковых значков, коновязи.

Арефьев, глотая пот и пыль, едва волочит Белободорова. Сержант костляв и тяжел.

– Братцы, православные, помогите товарища доволочь, не покиньте, родимые, – звонко, по-бабы, причитает Арефьев, ничего не видя.

– Экий паря-визгяк, – наклонился к нему московский гренадер. – Увесь фронт порешен, а ты... Эй, Аким Блохин, скидай ружья бонбардера волочь... Ребята, строй фронт: чего распужались...

Гренадеры свалили сержанта на ружья. Арефьев побежал было за ними, но кучка мальчишек-барабанщиков в пестрых красных куртках с желтыми наплечниками понесла его к соснам. Лица у барабанщиков были бледны, без кровинки, мальчишки прижимались друг к другу и ревели в голос.

На проталине за соснами Арефьев увидел ряды конских задов, крутых, с перекрученными в узел хвостами.

Там строилась конница. По людям и лошадям дрожью ходило чаяние атаки.

На тяжелом рыжем коне, сочащим рдяными ноздрями, вдоль драгунских и кирасирских полков медленно ехал генерал-аншеф граф Фермор.

Он был в голубом кафтане с голубой шелковой лентой через грудь. С трудом натягивал он на руку огромную лосиную перчатку с раструбом. Его черная шляпа с пышным галуном низко сидела на бледном лице, подстегнутая под подбородок ремнями.

Литавришки, скуластые меднорылые киргизы, трянули шестами с изогнутыми, как на китайских пагодах, серебряными ветками. Брызнул дружный звон.

Генерал-аншеф пригнулся к парчовому седлу и потянул из чушки пистоль. Перелилась радугой перламутровая насечка.

Граф окинул лица драгун в пудренных буклях и в черных треуголках: от веяния теней и солнца, от белых сквозящих буклей, от черных полосок ремней вдоль щек все лица были нежны и красивы.

Кобылы в рядах дергались дрожью, когда подступал к ним горячий, слегка дымящийся, конь генерал-аншефа. И втягивали, усыхая, расширенные ноздри лошадей и людей запах крови, гари, порохового дыма.

– Слушай команда, – набрал воздуха граф, весело крикнул. – Палаши вон, а-а-арш.

Сильно блеснула одна мгновенная длинная молния, небо погасло в вихре темной пыли, вжигающих колыханиях.

Арефьев обхватил руками сосну, на него навалился мальчишка-барабанщик.

Склоня дрожжущие жерди пик, пронеслись бородатые казаки в огромных шапках с воплем тонким и длительным:

– Г-и-и-и...

Мгновенно смело белое облако легких цесарцев.

Близко Арефьева на казацкой лошади пролетел без шапки, без стремян, высоко поджавши тощие ноги, молодой премьер-майор Суворов.

Солнце, накаленное, ослепительное, било сильными снопами в глаза пруссаков.

Сверканьем амуниции, потоками молний ринулась российская конница. Точно полчища архангелов в сияющих бронях обрушились с багрового солнечного щита.

Желтых гусар Зейдлица, белых гусар Путкамера отдунул вихрь московских коней. Кони смяли пехоту, сшиблись в груды. Кони лягались, припадали на корячки, скользили по мягким телам, с храпом, яростно трепеща ноздрями, впивали долгие зубы в наморщенные зады, в шеи, в тавро, в пыльные челки чужих коней.

Солнце, цепляясь золотым турецким куполом за черные верхушки сосен, дико вертелось в темных столбах пыли, когда потекла багряная пылающая река калмыков.

В красных сукнах, полунагие, в островерхих лисьих шапках, калмыки летели без гика и вопля, в молчании, с неподвижными медными лицами: Салтыков бросил в огонь свою последнюю конницу...

Хлынула багряная река, разлилась, и затопила желтые и черные островки гусар Зейдлица, гусар Путкамера, гвардию, пушки, пехоту.

Серый конь Фридриха с боками, изодранными в кровь, носится, заложивши уши.

– Притвиц, Притвиц, – задыхаясь от жара и пота, зовет король. Его треуголку пробило пулей. – Притвиц, я погибаю.

– Нет, вы не погибнете, Ваше Величество, шпоры, назад!

Вечернее солнце повеяло последним приливом. Анфилада зари торжественным пожарисчем раскинулась по небу. Тогда-то услышал Арефьев за собою дружный гул ног.

Точно с червонного неба скорым маршем шли рослые солдаты: в генеральную атаку на пруссаков двинуты ободренные полки. Румяно блещут медные наличники касок, подобные медным кокошникам.

Арефьева смело в тесное горячее движение.

– Российские, наши, – смеялся он на бегу.

Над пылающими медными шапками вздувает и бьет горбом прорванный шелк российского знамени, черными струями текут по желтому шелку шитые буквы:

– За имя Иисуса Христа и христианство...

Арефьева в спину, под бок толкают локти, приклады, ему быстро и горячо дышат в затылок.

По мягкому полю, изрытому копытами, свежевспаханному проскакавшей конницей, идут в атаку румяные солдаты, гремят румяные барабаны, скачут румяные лошади, офицеры придерживают от ветра румяные треуголки.

Граф Фермор, без шляпы, с рассеченным лбом, где звездой запеклась кровь, подскакал, широко дыша, к фельдмаршалу. Осадил коня, заговорил весело, непонятно, махая лосиной перчаткой, уже перетертой на поводу и потемневшей от пота. Рыжий конь графа налег обмыленной грудью на шею фельдмаршальского коня.

– Братцы вы мои, оржаные солдатушки, сбили мы гордыню Фредерика-короля, – вскрикнул фельдмаршал, тут же заплакал, высморгался в красный обшлаг, скомандовал:

– Вперед, за дом императрицы, за веру и верность...

Сержант Арефьев запутался в колючем кустарнике, упал в теплую лужу.

Гул атаки уже откатился, когда Арефьев выбрался из кустарника. Потемнело небо, дунул в лицо остужающий ветер.

Проваливаясь в ямы от конских копыт, сержант побежал на огни, маячащие в поле.

У костров сидели на корточках калмыки в лисьих шапках. Калмыки молча ели, макая пальцы в огромный, замшавелый от копоти котел.

– А не видал ли который батарей бомбардерских? – позвал Арефьев.

Калмыки молча помакали пальцы, и вдруг все разом захлопали ресницами, пушистыми от сажи, и заговорили пискливыми голосами:

– Не знам, бачка, не знам. Ступай туды, а ступай.

И засовали в воздух свои маленькие и плоские, как медные дощечки, руки.

Арефьева застала в поле и зябкая луна.

Высокой тенью бродил у болотца конь. Чихая, искал ли потерянного седока, щипал ли траву. Ночной ветер нес его черную гриву крылом. Далеко и глухо еще кипела баталия.

Конь ужасно оскалился, когда подошел Арефьев, шарахнулся в сторону.

«Иванушка, сердешный, поди тако ж poleg, – подумал Арефьев, шагая через мертвеца. – Пропал, не найтить... Пресвятая Богородица, помилуй мя».

Он подхватил под локоть орленую каску и пустился бегом. Хлопали по ветру фалды красного кафтана. В росистом дыму побежала за ним луна.

Канониры варили кашу в котлах, когда бомбардиренко Арефьев посунулся к самому огню и страшно повел глазами:

– Братцы вы мои, родимцы, наконец-то сыскал... А не видал ли кто, братцы, солдатского мово дядьку, Белобородова...

И не успели канониры ответить, Арефьев привизгнул:

– Каюсь, родимцы, в баталии я дядьку свою потерял.

Но тут с пушки сипло рассмеялся сам дядька Белобородов. Он лежал, накрытый плащом, и думал о дворянском сыне Арефьеве, ему препорученном, им, непотребным солдатом, прости Господи, в баталии потерянным, а выходит, Степушка сам тут под пушкой сидит да о нем же голосит.

– А и вовсе не потерял твой дядька, – вспрянул Белобородов.

– Дядька! – визгнул московский дворянчик, припал к груди старого солдата и зарыдал полно и радостно, в голос.

– Эв, эва, – ворчал Белобородов. – Стыдись... Чай не девка московская, а бомбардерской славной роты сержант. Стой, слышь, никак полки вскричали, стало быть, фельдмаршал едет по фронту.

От котлов, от огней, из ям, где свалены раненые, от пушечных запряжек, где сбиты в кучу кони, потрясая орлеными гренадерками, подымались российские войска, встречая фельдмаршала.

Арефьев орал дико, подпрыгивая на одной ноге, и утирал рукавом веселые слезы...

А за Одер по шатучим мосткам плотно, глухо и молча отступала прусская гвардия.

Был слышен скорый топот ног, лязг скрещенных штыков, кашель, гортанные оклики, звяканье.

Ранен Зейдлиц, убит Путкамер, лошадь долго волочила тело Финка, и под солдатскими телами окоченел генерал Пильзнер.

В деревне Этшер – пробоины обрушенных стен, сорванные крыши. Король Фридрих спрыгнул с коня у темного одноэтажного дома.

В стеклах льется тихая луна. Король вошел в низкую дверь... Лечь, только лечь... Все кончено, русская орда смела его полки. Презренные татары в пудренных буклях, презренная татарская Елисавет... Боже сил, конец... Пистолет... Но, Господи, я во власти Твоей... Нет, еще рано – пистолет. Нет, не надо свечей. Он устал. Пусть унесут свечи.

– Ваше Величество, тут есть солома, но она сырая, пахнет гнилью.

– Не надо соломы. Конец. Он ляжет на земле. Он накроется плащом с головой. Господи, я во власти Твоей.

– Ваше Величество, надобно стянуть сапоги, они совершенно иссохлись.

– А, сапоги, хорошо, сапоги...

Фридрих пошарил тощими пальцами вдоль ботфорта.

Путкамер убит, Пильзен убит, Финк убит, ранен бесстрашный Зейдлиц. Он потерял сегодня своих генералов, славу, знамена, полки...

– А, Притвиц, вот я потерял шпору. Ложись, Притвиц, молчи...

Его Величество натянул на лицо черный плащ и покрыл голову треуголкой.

От дна шляпы знакомый запах табаку и пота: так пахнут его солдаты.

Его солдаты... Господи, я во власти Твоей.

На улице, у низкой двери, стал на часы громадный берлинский гренадер.

Гренадер опер обе руки на дуло. На высокой тумпаковой каске заиграл лунный свет, и перелились там чеканные знамена, башни, и полукруглая лента латинских букв: «Semper talis»² и скрещенный вензель «F. R.».

² «Всегда такой» (лат.)

Три барабанщика

Старый капрал, попыхивая короткой трубкой, садился по вечеру на барабан.

На темной, как медь, шее отстегнут красный галстух, отставлена тощая, в черной штиблете, нога, и зеленый мундир внакидку.

Уголь, разгораясь в трубке, освещает морщинистую щеку, сивую буклю и насупленную бровь.

– А ну, повторяй... Како команда подадена «атакуй в линию»?

– Начинает барабан, бьет в три колена...

Антропка рассеянно окидывает карими глазами синие холмы, костры лагерей, синие столбы дыма в вечернем небе.

По серой книжице, что фельдмаршалом роздана еще в Вене, каждый вечер, покуда не вытрусит о каблук весь пепел из трубки, научает капрал мальчонку барабанной службе.

– А когда команда подадена «в атаку»?

– Бить мне фельд-марш.

Антропка переступает с ноги на ногу. Он курносый, веснушчатый, в зеленом камзольчике, в черных штиблетах, как и капрал, а на мальчишеской груди пышный красный шнур барабанщика.

Антропка со скуки потряхивает рыжеватой косицей, куда цирюльник вплеп позавчера медную проволоку, чтобы прямо держалась. Коса посыпает плечи мукой.

Исайка, гренадерского полка барабанщик, да Николка, барабанщик Архангелогородского полка, уже побегли, поди, в сады-винограды. Славна земля Итальянская ягодой-виноградом.

– А когда даден пароль и сигнал?

– Барабан бьет поход.

Антропка смигнул, в карих глазах дрогнули алые капли вечерней зари.

– «Атакуй»?

– Бьет паки колено, сменяет музыка, паки барабан, бить и играть скорее.

– «Ступай, ступай. В атаку»!

– Поход в барабаны. И бежать через картечную стрельбу...

– Так оно, точно, – капрал зевает, крестит рот. – Дале тебя не касаемо.

И бормочет под нос, почесывая горстью грудь под рубахой, и трудно передвигает затекшую на барабане ногу:

– Дале удар в штыки сквозной атакой... Ступай покудова, трясогуз, на ночь, мотри, подкосок расплети. Вша заест.

Барабанщик, прихвативши гренадерку под мышку, ветром летит вдоль шатров, лошадей, возов, медных мортир. Прыгает через солдат, что уже полегли звездами у погасших костров, прикрытые синими епанчами.

Николка, вострый нос, вечер хвастался, будто Архангелогородскому полку за Требию гренадерский марш бить приказано. Врет. Подрались из-за марша с Николкой. Барабанщик Исайка, толстяк, тоже петербургское солдатское дите, лениво разнимал:

– Да буде вам, глянь, картошка горит...

Втроем хватали с угольев печеную картошку и скоро жевали. Потом бледный Исайка смотрел на чужое темное небо, полное звезд.

– Намедни трубач сказывал, будто в Питере морозно еще. Тут-то, сказывал, лето, там-то, сказывал, зима.

– Верь ему, как же, – фыркнул Николка, дунул на обожженные пальцы. – Разве тута земля: ни зимы, ни лета, а один жар.

Почасту дрались они и ходили по виноград, еще жесткий и кислый, крали картошку у каптенармуса и спали втроем под синим плащом, на сырой ли соломе в сарае у костров, а то в сухой траве, в пыльных колеях, поперек дороги.

Исайка бледнел, во сне сопел, и был открыт рот. Николка долго ворочался, раскидывался от духоты, горел. И спал тихо и грустно Антропка, подложивши смуглый кулачок под щеку...

Давеча был бой. В сухой жар стояли гренадеры, ружья к ноге, медь пламенела на шапках. Пот и грязь текли по лоснящимся лицам, по размякшим буклям, нещадное солнце разило в глаза. О белый щебень щелкали пули, в виноградниках за каменистым ручьем выли горячо и уныло французские якобиты в красных колпаках.

Барабанщик Антропка, зажмурясь, ждал команды дальнего крика «атакуй».

Ждет команды дрожащее небо, колючие кусты у дороги, ряды зелено-пыльных солдатских спин, вой за каменистой рекою.

– Атакуй в линию!

Антропка подпрыгнул, барабан прогремел три колена. Громадные гренадеры с ревом, в пылающей меди, лязгая прикладами, двинулись в атаку.

– Дура, бей фельд-марш! – капрал обернулся на ходу, блестит от пота его лицо.

Антропка прыгает с барабаном, весь в поту, лицо разгорелось, рыжие прядки прилипли к щекам.

Точно из багрового неба идут гренадеры, кто без медной шапки, у кого голова обвязана намокшей тряпкой, почернелые от пороха, огромные, потные.

Давеча был бой, и наемни был бой, но какие каменистые реки проходили и какие города, Антропка не помнит: жалит солнце земли Итальянской, ходит горячая пыль, идут гренадеры из багрового неба.

Только помнит Антропка один белый город, а в нем сад за оградой, а в саду душистые розы.

Капрал ходил туда петь отпеванье, а маленький барабанщик раздувал ладан в кадильнице.

В том саду тяжело звенели мушинные рои и лежали босые гренадеры, все лицом к небу, почерневшие руки подогнуты под грудь, и черная кровь запеклась на лохмотьях мундиров. Светило солнце на утихших лицах, на запалых темных глазах.

Лежал в том саду, кверху лицом, поджавши под грудь кулачки, убитый барабанщик: востренький нос, приподняты обе бровки.

Антропка звенел медной цепью кадильницы, звонко, не в лад, подпевал капралу, поплевывал от сладковатой духоты и косился на убитого барабанщика. «Мальчонка какой, – думал он. – «Поди из другого полка к нашим гренадерам покладен».

И внезапно узнал Николку по барабанным ремням, узнал темные кулачки, бровки и нос. Подумал: «То Николка покладен».

А других городов итальянских Антропка не помнит...

Он помнит, как в пыли на итальянской дороге Суворов, фельдмаршал, сухонький старичок в кожаной каске с петушиным пером, босой, без стремян, в одних холщовых подштаниках, рубаха расстегнута на груди, вертелся на казачьем коне, мокрым от пота, курчавом, дымящем.

Прыгает на протертой португее шпажонка. Фельдмаршал закинул багровое от жара лицо, седые волосы прилипли к вискам, острый подбородок дрожит.

Вот скинул каску, утерся полой холщовой рубахи, выказав коричневый впалый живот с черной дыркой пупка. Приподнялся в седле. Горячий ветер ослепительным блеском мечет рубаху:

– Ни о каких ретирадах не мыслить! Богатыри, неприятель от вас дрожит!

Старческое лицо замигало ужимками:

– Да есть неприятеля больше, проклятая немогузнайка, намека, догадка, лживка, бестолковка, кличка, чтобы бестолково выговаривать...

Фельдмаршал зашелся, закачены глаза, выстреливает странными словами:

– Край, прикак, а, фок, войрак рок, ад... Стыдно сказать!

Выпрямился вдруг в седле, поднял шпажонку:

– Солдату надлежит быть здорову, храбру, решиму, справедливу, благочестиву... Молись Богу, – от него победа! Чудо-богатыри! Бог нас водит. Он нам генерал!

Сталь шпажонки мелькнула, как молния:

– Господа офицеры! Какой восторг! Храбрость! Победа! Слава! Слава! Слава!

Высверкнули офицерские шпаги, прихлынул горячий вопль тысячи глоток. Потрясают ружьями, эспантонами, взлетают, сверкая, в пылящее небо каски и треуголки.

Казацкий конь, заложивши уши, скалится от ярости, пятится, вырвался. Дикой птицей, без стремян, летит Суворов, хлещет рубаха ослепительным знаменем.

В столбах пыли, где блещут мортиры, там, где косяками под красными пиками движутся синие казачьи полки, и там, где зелеными квадратами ползет российская пехота и полощатся лохмотья знамен с московскими орлами и львами на наверхиях, гремят тысячи жаждущих глоток:

– Виват...

...Барабанщик Антропка босой, шатаясь, идет по горной тропинке за капралом.

Обеими руками прижимает к груди барабан. Зеленый камзолец изодран, потеряна шапка, рыжеватая голова обвязана тряпкой. Барабанщику бьет в лицо, в спину, под ноги студеный ветер.

И видится барабанщику земля итальянская, марево зноя, знамена, полки, Суворов, тяжкий пушечный дым.

На горном подъеме, в тумане, гренадеры наткнулись на гренадерский обоз.

В лужах, под мокрым снегом, лежат гренадеры. Барабанщик зашлепал по лужам к обозам, а лежит там Исайка под темным тряпьем. Белеет полное лицо и раскрыт обсохлый рот.

– Исаюшка, ранетый ты?

– Нет, не ранетый. Нутром исхожу. Помираю.

Печально поворачивал глазами Исайка и усмехнулся:

– А трубач правду сказывал, что в одной земле лето, в другой-то зима: туто опять зима, как бы в Питере. Снег летит, хорошо... Прохлаждает...

Старый капрал, костистая спина занесена снегом, обернул темное лицо, глухо позвал:

– Ступай, солдатенок, ступай... Возьмись за патронницу мою, легче будет...

Барабанщик потянулся в гору за высоким капралом, как зеленая топкая былинка.

Сырая мгла летит в глаза, в тумане идут вверх, в серую тучу, гренадеры. Медные шапки занесло снегом, цепляются за облака мокрые штыки, рвет ветер синие лохмотья плащей, а в прорехах хлопья снега, как белые мыши.

Под ногами, у края тропы, далече внизу дрожат сквозь туман огни.

– Огни, дяденька...

– Не огни, звезды под нами в пропастях. Не гляди, слышь. Закружит.

Стал капрал, стал барабанщик, заоченели руки на патронном ремне. Стали все на ледяной тропе.

– Ослобони барабан. Приказано стать.

По тропе, ныряя в метель, идут вверх темные кони. Мулы, навьюченные зарядными ящиками, потряхивают ушами и счиркивают копытами лед. Чавкая обрывками сапог, идут мушкетеры в размокших треуголках, карабкаются в небо за гренадерами. Карабкаются в небо кони, пики, эпантоны, знамена...

На обледелом голом кряже стоят казаки.

Побелевшие лошади сбиты в круг, голова к голове, казаки в белых шапках похожи на монахов в белых клобуках. Ветер рвет клочья бород. Казаки стерегут пленных на кряже. Якобиты сбиты стадом под конскими мордами. Сидят на корточках, с головами покрылись голубыми капотами. Якобитов заносит снег...

Капрал пошарил рукой по лицу барабанщика:

– Слышь, вставай, и нас идти посылают. Очухайся, слышь...

Антропка поднялся. С синего плаща посыпало снег. Опять сел:

– Силушек моих нетути, дяденька.

– Эва, беда... Мотри, гранадеры пошедши. Казаки тоже тронулись...

По тропе, на лохматых конях, движутся занесенные снегом казаки.

– Гаврилыч, – позвал одного капрал. – Дай ты мальчонке за хвост коня придержаться, все оно легче...

– Пушай его держится. Мне ништо.

Капрал взвалил на спину Антропке барабан, обмотал вокруг его кулачонка намокший конский хвост, а сам бормочет:

– Слышь, тихо ступай... Службу сполню, к тебе прибегу...

Проваливаясь в сугробы, ружье поперек плечей, капрал стал догонять гранадеров. Мушкетеры карабкаются в небо за гранадерами. Белые хлопья кружат над штыками. Туман обволок вереницу теней.

В ночь на 25 сентября Суворов повел войска на хребет Рингенкампфа: Милорадович в авангардии, в арьергардии князь Петр Багратион.

Сам фельдмаршал ныряет на казачьей кобылице в метель. Плеть обмотана вокруг руки, волочится по снегам. Седые волосы несет буря, дико горят глаза. Вот на утесе фельдмаршал, вот сгинул...

* * *

...В горном хлеву горит свеча.

Подогнувши ноги под табурет, склонился над дощатым столом тощенький старичок. На его плечи накинут синий плащ. Дымом светятся от свечи волосы, белая прядь над морщинистым лбом.

Скрипит гусиное перо по шершавой бумаге.

Белоголовый смуглый старик в синем плащишке, генералиссимус войск российских, отодвинул в угол стола медную каску с петушиными перышками, кортик, обтрепанные ремни портупей, пишет.

Шуршит по бумаге обшлаг его холщовой куртки.

Стукнули двери, помело снег с порога, пламя свечи закачалось, ветер повеял в белых волосах Суворова. Фельдмаршал прищурился, посмотрел в темноту через огонь свечи:

– Князь Петр, никак, милый друг, ты?

Из темноты ступил князь Петр Багратион.

Черноволосый и тощий, похож генерал на поджарую птицу. Жесткие волосы спадают князю Петру на глаза, а нос, как белый клюв, выглядывает из черной щетины.

Князь замигал на свечу. Глаза генерала отвыкли от света.

– Осмотрел ли, князь Петр, полки? – сказал тихо Суворов.

– Осмотрел, – сиповато ответил Багратион и закашлялся.

На хребте едва не увязили в сугробах последний зарядный ящик и мортиру. Генерал сорвал себе голос на студенном ветру, помогая костлявым плечом толкать пушечные колеса.

– Ложись, мил-друг, тут, на полу, койки-то нет, а весьма тебе надобно отдохнуть... Епанчу какую имеешь прикрыться?

- Епанчи нет, – сказал хмуро Багратион, потер иззябшие руки.
- Мой плащишко возьми. А мне холод, помилуй Бог, не супостат.
- Не надобно мне плаща вашего, благодарствую.
- Возьми, князь Петр, ложись... – Суворов проворно перекинул через стол дырявый

синий плащ.

Багратион поймал его в охапку, поклонился и зашлепал в угол. Башмаки без подошв, из башмаков торчат пальцы. Князь наследил на половицах, как большая птица мокрыми лапами.

От самого Сен-Готарда сбили башмаки, изодрали о щепень и камень мундиры, в атаку на Муттенталь уже ходили босыми, в лохмотьях, заросшие бородами, страшные выходцы гор, чада Суворова.

Багратион лег в углу, кутаясь в суворовский плащ. Он вдыхал сырой запах солдатского сукна, ладана, дыма костров, свежего ветра, стариковский запах фельдмаршала, и вдруг усмехнулся: вспомнил курioзный парад в Гларисе, на самом походе Альпийском.

Офицеры и солдаты босые, кто в треуголке, а у кого голова обвязана шарфом или фуляром. Расплелись косы и букли, мокрые пряди волос, словно у попов, пали на плечи. Все брадатые, тощие, у всех от пороха черные лица, и только сверкают глаза.

Только сверкают глаза, да штыки, да медь орлов на гранадерках с вензелем императора Павла. Офицеры во фрунте без шляп: сорваны в бездны. У Милорадовича на ногах еще туфли из конской кожи с убитого французского вольтижера, а генерал Розенберг в одних шерстяных чулках, и прорваны пятки. Босые генералы преважно обходят фрунт сих брадатых солдат, чад российских, и, пребодро здороваясь, салютуют лохмотьям знамен, словно на вахт-параде на Марсовом поле.

Альпы, Альпы, горный проход... Мглистые ночи, ярые ветры, облака на утесах и войска в облаках. По отвесным скалам скользят громадные тени костлявых коней, знамен, пушек, солдат. Леденящий ветер, окоченевшие люди, ни сухой ветки, ни огня, острия скал, снег, Альпы, Альпы. Ход туч под ногами, рокотание громов далече в ущельях, дремучие ночи, крик орлов, мерцающая в пропастях звезда, французские костры в долинах Швейцарии...

- Князь Петр, никак ты не спишь?
- Не спится, Александр Васильевич.
- Чего ворошишься... Спи, Петр.
- Не могу, лихорадка томит.

Багратион встал, поволочил за собою плащ.

– Ведаю твою лихорадку... Поди, думаешь, каково войско российское страждет.

– Точно, сии Альпы – могила войск российских. Что ни шаг на горной тропе, занесенный русский мертвец. Боже мой, мы отчаялись.

– Тише, помилуй Бог, тише.

Суворов проворно ступил к Багратиону, поднялся на носки и положил руку на костлявое плечо генерала:

– О сем, князь Петр, молчи: мертвецам вечный покой у престола Всевышнего.

Суворов отнял руку, часто закрестился, зашептал:

– На Аспида и Василиска наступивши, Змие повергши, во имя Твое, Господи Созидителю.

– Аминь, – пробормотал Багратион и тоже закрестился быстро и косо...

* * *

А на тропе скоро выпустил барабанщик Антропка конский хвост из коченеющих рук и медленно, потом все скорее, стал сползать в снега, под откос. Никто не обернулся, не посмотрел. Только казацкий конь перетряхнул ушами и счихнул, чуя, что легче ступать.

Утром, когда войска миновали Рингенкампф, над колесными спицами и головами мертвецов с заледенелыми косами зашумели широкие крылья. Слетелись горные орлы.

Они кружили косыми кругами, подскакивали, глухо клекоча, и царапали когтями ледяной наст.

Шум крыл свеял снег с побелевшего лица маленького барабанщика и с его рыжей косицы...

В русском лагере, что в Куре на Рейне, трещали костры. На составленных в козла ружьях спали свернутые знамена. Кто чинил рваный мундир у огня, кто менял портянки, чесали друг другу тупеи, вязали подкоски. Тяжелый гул солдатского говора стоял у костров.

Старый капрал с погасшей трубкой в зубах ходил у всех огней князя Багратиона арьергардии и у казацких косяков.

– Не видал ли кто барабанщика Апшеронского, солдатенка? – пытал у многих капрал.

Не видал никто. Сгиб барабанщик на тех ли на горах великих, Альпийских.

Капрал вышел за костры в темное поле. Далече, тяжким синим сном спят великие горы. Капрал посмотрел на них и перекрестился.

Роза и крест

Российские кавалеры Розы и Креста, Орден Златорозового Креста, мартинисты в Москве – теперь это неразгаданная грамота или слова забытого, потерянного языка для потомка.

Странный свет разгорался почти два века назад в России, волна его таинственного зарева прошла по последним годам империи Екатерины Второй.

* * *

В самом конце июня 1766 года в Москве в Грановитой палате открылись собрание Екатерининской «Комиссии Депутатов от всех сословий государства для обсуждения проекта нового уложения».

420 депутатов, по двое в ряд, торжественно проследовали из Чудова монастыря в Успенский собор для присяги «в усердии любезному отечеству и в любви к согражданам».

Императрица Екатерина следовала с ними церемониальным поездом, в императорской мантии, украшенная малой короной, в карете осьмериком, под эскортом кавалергардов. За нею в красной карете следовал российский наследник Павел Петрович.

В тот же день Григорий Орлов, сидя в депутатских креслах рядом с депутатом Вотской пятины Муравьевым, живо беседовал с ним об архитектуре Грановитой палаты, а императрица из тайника наблюдала первое собрание, слушала удары жезла генерал-прокурора, чинное голосование и чтение первых речей.

В 1767 году между других был отправлен из Петербурга для письмоводства в Комиссию 23-летний поручик Измайловского полка Николай Иванович Новиков.

Полтора года длилась первая сессия первой российской палаты депутатов, а 17 декабря 1767 года маршал собрания Бибииков объявил волю государыни о закрытии Комиссии, с тем, чтобы заседания ее вновь открылись в Санкт-Петербурге с 18 февраля 1768 года.

Но российские депутаты не собрались ни в Петербурге, ни в Москве, и Грановитой палате не довелось больше слышать «ударов жезла генерал-прокурора».

А через четыре года в Москве пронеслась чума с бунтом черни, зверскими убийствами «скопом» и картечной пальбой вдоль улиц, а через восемь лет вместо торжественного шествия депутатов «для присяги любезному отечеству» Москва увидела пехотные и конные полки, провожающие на Болото высокую колымагу самозванца и бунтовщика Емельки, Яицкого «ампиратера» Петра III, «маркиза Пугачева», как звала его с презрительной насмешкой Екатерина.

Пугачева везли в нагольном тулупе и пестрядевой рубахе. Его волосы и борода были всклокочены, а глаза сверкали. Он держал в руках две горящих церковных свечи. Желтый воск заливал его смуглые руки.

Когда началась казнь, «гул аханья», как записывает ее очевидец Иван Дмитриев, прокатился по многотысячной толпе до самого Каменного моста.

В эти дни императрица напишет своему неизменному корреспонденту барону Гримму в Париж: «Как и следовало ожидать, комедия кончилась кнутом и виселицей».

* * *

Палата депутатов, подобная «аглицкой народной каморе», со спикером-маршалом и вольными речами, картечи чумного бунта в вымершей Москве и «гул аханья» в январскую стужу на Болоте – во всем этом трагическая Москва осемнадцатого века в своих трагических противоречиях.

И если представить ту Москву, видится тусклый и дымный день оттепели, когда по стенам древних соборов течет темная сырость, когда купола мокрых церквей с лохматыми галками на крестах меркнут в небе горами меди.

Странные люди, обритые и с косицами, в зеленых кафтанах с красными отворотами и в шелковых чулках, обрызганных грязью, встречаются в кривых улицах с бородами мужиками, похожими в своих охабнях на дымных медведей.

И те, и другие русские, но какое противоречие между бублями одних и бородами других, между багрово-грозной стеной Кремля, повисшей в тумане, и той золотой каретой с лепными гирляндами у граненых стекол, которая тащится цугом по грязному снегу горбатым переулком к вечерне.

Белоглазые слепцы гнусают на паперти стих о Лазаре. Плосконосый калмычок в арха-луке откинет бархатные ступеньки у дверцы кареты, и среди расступившихся рабов и рабынь пройдет к вечерне пудренная московская госпожа в робронах, невероятное видение Версаля.

Невероятным сном о Версале, зловещим наваждением кажется вся Санкт-Петербургская империя на Сивцевых Вражах и в Кривоколенных переулках старой Москвы.

* * *

Но странно сочетаются с дикой и темной Москвой, с ее полутатарскими Балчугами и грязями два неразгаданных слова: Роза и Крест.

В такой Москве кажутся невозможными ее розенкрейцеры, ее Рыцари Иерусалима, «верховные представители теоретической степени Соломоновых наук в России».

Впрочем, так же невозможен и Санкт-Петербург, восставший из болот, невозможно и преобразование грузной Московии в стремительную империю Петра. Нельзя бы было тому и поверить, если бы не было так.

Как видно, не только зловещим маскарадом Европы, нагромождением противоречий, толпой ряженных была Петровская Москва. Иначе не разгорелись бы в ней сокровенные Роза и Крест.

* * *

Есть предание, что сам Петр Первый был посвящен в вольные каменщики, «франкма-соны», еще в 1697 году в Амстердаме, в английской ложе.

Если и неверно предание, то нетрудно заметить, что вскоре же вся молодая империя Петра стала как бы одной громадной «франкмассонской ложей».

Ее фельдмаршалы, назовем хотя бы имена Репнина, Чернышева, наконец, Суворова, ее министры, все ее верхи, знать вместе с париками и кафтанами переняли из Европы и «франк-массонство». И в 1787 году в России действовало уже 115 лож вольных каменщиков.

Но, может быть, это было только варварским подражанием Европе? Недаром же Иван Перфильевич Елагин, высокий вельможа Екатерины Второй и одновременно «провинциаль-ный всего Российского масонского общества Великий Мастер», вспоминая в своей откровен-ной записке «о Боголюбии и Богомудрии, или Науке Свободных Каменщиков» начальное рос-сийское «франкмассонство», признается, что «токмо та и есть истина, что ни я, ни начальники лож иного таинства не знали, как разве со степенным видом в открытой ложе шутить и при торжественной вечере, за трапезой, несогласным воплем непонятные реветь песни и на счет ближнего хорошим упиваться вином, да начатое Минерве служение окончится празднеством Бахуса».

Уже известный нам Новиков, вступивший в ложу «Астрея» в 1775 году, записывает «франкмассонах»: «Находясь на распутье между вольтерьянством и религией, не имея точки

опоры для душевного спокойствия, попал я в общество масонов», и повторяет слово в слово Елагина: «В собраниях почти играли масонством, как игрушкой, ужинали и веселились».

Но как Елагин после всех насмешек над каменщиками внезапно признается, что ему «открылось неизменного Слова или Первенца Сына Божьего Воплощение, страдание, Животного Креста таинства, воскресение, вознесение», так и Новиков говорит, что «первым моим Учителем был Бог».

Может быть, века нерушимого московского благочестия, византийской созерцательности, раскольничьей иступленности духа о Боге и об Его правде и чуде в мире, но вольное каменщество как-то сочеталось с православием старинной России и превратилось там в глубочайшее движение, даже в откровение тайников русского духа.

Недаром митрополит Платон Московский, которому в 1786 году было поручено «испытание в вере» того же Новикова, ответил императрице: «Молю Всещедрого Бога, чтобы не токмо в словесной пастве Богом и Тобой, Всемиловитейшая Государыня, мне вверенной, но и во всем мире были христиане таковы, как Новиков». Не без оснований также известный немецкий мистик Иоанн Христоф фон Вельнер, «посвященный» в 1776 году «в таинства розенкрейцеров» и через пять лет посвятивший в них московских «франкмасонов», изучал обряды православия, почитая их, по свидетельству Лонгинова, «сходными с масонством и надеясь найти в них сокрытую истину».

Старинные каменщики России, по-видимому, искали «внутренней церкви Бога Живаго», о которой розенкрейцер Ив. Лопухин говорит так в своем «Духовном Рыцаре»: «Непрестанно творится и растет тело таинственного человечества Христа, коего члены суть люди, одушевленные новым законом любви. А когда распространится всяческое, будет Бог во всех».

Так, екатерининские «франкмасоны» были связаны глубочайшими токами с православием и, во всяком случае, они были творящей движущей душой Петровой империи – от фельдмаршалов до пехотных офицеров в далеких провинциальных гарнизонах, от Петербурга и Москвы до самого Иркутска, где тоже тогда была каменщицкая ложа, как в Архангельске и Владимире, Орле и Могилеве, Кременчуге, Казани и Харькове...

Но кто же были московские рыцари Розы и Креста?

* * *

Кроме классического труда Лонгинова, много живых черт о московских мартинистах рассыпано в русских архивах и записях современников.

Но заранее можно сказать, что факты внешней их жизни скудны и обычны.

Среди них есть профессора московского университета, врачи, московские иностранцы, купцы, отставные офицеры и капитаны флота, помещики, чиновники и гувернеры барских домов.

Вот «Божий человек» Семен Иванович Гамалея, вот московский почт-директор «из мужиков» Ключарев, университетский профессор Харитон Чеботарев, Ладыженский, бывший начальник канцелярии фельдмаршала графа Чернышева Осип Поздеев, «черноватый, рябой и кроткий человек в мундире отставного моряка», вот университетский куратор, европеец по духу и латинист Михайло Матвеевич Херасков, «у которого тряслась голова», князь Николай Трубецкой, попечитель московского университета Кутузов, князь Козловский, французский купец Туссен, помещик Иван Лопухин, внук двоюродного брата первой жены Петра I, отставной бригадир Иван Петрович Тургенев, братья Татищевы, Чулков, князь Энгальчев, князь Черкасский, врач Френкель, бакалавр Ермил Костров из крестьян Вятской губернии, купцы братья Походяшины, отдавшие Ордену Златорозового Креста свое состояние, Щепотьев, Плещеев, фельдмаршал князь Репнин, который, по признанию Новикова, первый открыл ему, что

«истинное масонство есть таинство розенкрейцеров», сам отставной поручик Новиков с братом Алексеем и, наконец, бывший гувернер и учитель немецкого языка Иван Егорович Шварц.

Все эти русские розенкрейцеры были франкмасонами, но лишь немногие из русских франкмасонов были розенкрейцерами. По точным свидетельствам, до самого закрытия Ордена Розы и Креста, в нем было всего 19 «кавалеров». А между тем в одной Москве считалось тогда свыше 800 вольных каменщиков, и, например, почти все тогдашние профессора Московского университета были в ложах, и даже существовала особая «Университетская ложа», по свидетельству одного старинного документа, названная так «потому, что из университетских сколько их было, то почти все в ней были».

Масонский конвент 1781 года во Франкфурте-на-Майне, где от Москвы был Иван Шварц, признал Россию «8-й независимой московской провинцией», и с 1782 года в ее «капитуле» оставалось незанятым место «Провинциального Великого Мастера», которое предназначалось наследнику престола Павлу Петровичу. «Казначеем» был тогда Новиков и «канцлером» – Шварц.

Тогда же был учрежден в Москве и орден Розы и Креста: в 1781 году Иван Шварц встретил в Берлине розенкрейцера Иоанна фон Вельнера и 1 октября получил от него формальный акт на право единственного верховного представителя теоретической степени Соломоновых наук в России» и полномочие передать эту степень Новикову. Шварц получил от Вельнера и «наставление в знаниях розенкрейцерских и право на основание в Москве Ордена Златорозового Креста».

С 1782 года Орден и основался в Москве.

* * *

За три года до того перебрался туда из Петербурга отставной гвардейский поручик Новиков.

По словам Новикова, его «отец вступил в службу блаженной памяти при императоре Петре Великом во флот», а сам Новиков, по бедности, не получил тогдашнего дворянского воспитания, не знал иностранных языков и «начал службу в Измайловском полку рядовым из дворян».

В день свержения Петра III в 1762 году, когда Екатерина с восставшими войсками прибыла в Измайловский полк, Новиков находился «на карауле у полковой канцелярии, у моста через ров».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.